

A decorative border of watercolor flowers in various colors (red, pink, blue, green) surrounds the central text. The flowers include roses, peonies, and smaller blossoms with green leaves.

ПАСХАЛЬНЫЙ
СБОРНИК
СЕРГЕЯ ДУРЫЛИНА



*Ангелы поют
на небесах*

ПРОЗА
И СТИХИ

Сборник

**Ангелы поют на небесах.
Пасхальный сборник
Сергея Дурылина**

«Никея»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)+ 86.372

Сборник

Ангелы поют на небесах. Пасхальный сборник Сергея Дурылина /
Сборник — «Никея», 2019

ISBN 978-5-91761-973-6

Настоящий сборник – часть большой книги, составленной А. Б. Галкиным по идее и материалам замечательного русского писателя, богослова, священника, театроведа, литературоведа и педагога С. Н. Дурылина. Книга посвящена годовому циклу православных и народных праздников в произведениях русских писателей. Данная же часть посвящена праздникам определенного периода церковного года – от Великого поста до Троицы. В нее вошли прозаические и поэтические тексты самого Дурылина, тексты, отобранные им из всего массива русской литературы, а также тексты, помещенные в сборник его составителем, А. Б. Галкиным.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)+ 86.372

ISBN 978-5-91761-973-6

© Сборник, 2019

© Никея, 2019

Содержание

От редакции	6
Великий пост	7
Александр Пушкин	8
Отцы пустынноики и жены непорочны...*	8
Федор Тютчев	9
«О вещая душа моя!..»	9
Иван Шмелев	10
Из книги «Лето Господне»	10
Анна Ахматова	20
«Я в этой церкви слушала Канон...»	20
Исповедь	20
«Кого когда-то называли люди...»	20
Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля)	22
Александр Сумароков	22
Стихиры Пресвятой Деве	22
Владимир Бенедиктов	23
Благовещение	23
Федор Туманский	24
Птичка*	24
Сергей Дурылин	24
Из романа «Колокола»	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

**Ангелы поют на небесах. Пасхальный
сборник Сергея Дурылина
Составитель Александр Борисович Галкин**

Допущено к распространению

Издательским советом

Русской Православной Церкви

ИС Р19-817-0630

От редакции

Выдающимся писателем, священником и богословом С.Н. Дурылиным была задумана книга, где годовой круг церковных и народных праздников представлен глазами русских писателей и поэтов, причем костяк составляют его собственные прозаические сочинения и поэтический цикл «Венец лета». Завершить замысел он не успел, однако исследователь его творчества А. Б. Галкин взял на себя труд дособрать указанные и намеченные Дурылиным произведения, дополнив их рядом текстов, отвечающих авторской концепции.

Пасхальный сборник «Ангелы поют на небесах» – часть этой большой книги. Он включает в себя произведения, посвященные праздникам определенного периода церковного года – от Великого поста до Троицы.

Для удобства чтения дни церковных праздников и памяти святых расположены помесечно с краткой аннотацией на каждый из них.

Тексты, отобранные Дурылиным, отмечены звездочкой.

Большинство произведений печатается в современной орфографии и пунктуации за исключением случаев, где, по мнению составителя, сохранение старых норм служит большей художественной выразительности.

Особенности авторской лексики и словообразования сохранены без изменений, все авторские выделения приведены курсивом или полужирным.

Многие произведения сборника представлены в сокращении; места сокращений обозначены отточием в угловых скобках.

Все тексты, за исключением произведений самого С.Н. Дурылина, воспроизводятся по изданиям 1990-2000-х годов. Источники публикаций дурылинских текстов указаны в подстрочных примечаниях.

Подстрочные примечания без авторства принадлежат составителям тех изданий, по которым произведение публикуется.

Некоторые тексты не датированы.

Великий пост



Стихотворение А. С. Пушкина «Отцы пустынноики и жены непорочны...» является поэтическим переложением великопостной молитвы Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалаия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения
И не осуждати брата моего,
Яко благословен еси во веки веков.
Аминь.

В этом стихотворении, написанном поэтом незадолго до смерти, зрелый Пушкин переосмысляет главную идею своей жизни и творчества – идею свободы, которая теперь понимается им как смирение и следование воле Бога. В этом заключается, по Пушкину, высшая свобода, чуждая личного произвола. Знаменательно, что смерть Пушкина 10 февраля (29 января) 1837 года совпала с днем совершения христианской церковью памяти св. Ефрема Сирина.

Александр Пушкин

Отцы пустынноики и жены непорочны...*

Отцы пустынноики и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

1836

Федор Тютчев

«О вещая душа моя!...»

О вещая душа моя!*
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты жилища двух миров,
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Иван Шмелев

Из книги «Лето Господне»

Чистый понедельник

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник – филищик Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», – Горкин вчера рассказывал, – «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому дню готовиться.

– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощенный день. И Василь Василии простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках – «всех прощаю!». Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, – священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

– Вставай, милоч, не нежься... – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел пост – отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут – «душе моя, душе моя» – заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный, – тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, – Чистый сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намазать голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие – угольники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай – «за сахар».

– А почему папаша сердитый... на Василь Василича так?

– А, грехи... – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердуются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то! Читай – «Господи, Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере,

зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, – по субботам он сам зажигает все лампадки, – всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е... Воскресение Твое
Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней поста, – Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым счетом светит в эти грустные дни поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на Небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом – другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь – «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет – «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.

– Потому они чувят, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого дня дожидаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни... по-мни!.. – поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест – по-мни... по-мни... Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется – постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина – «Красавица на пиру» – закрыта простынею.

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «Греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится – такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то – «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий пост: раскатишься – и сломаешь ногу. От масленицы нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и там, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все – другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, – весь двор завалят. Поедем на «постный рынок», где стон

стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

– Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна – Бог.

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», – и притаиваюсь за дверь. Я вижу в щелку широкую спину Василь Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармония, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, – злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

– Пьяная морда! – кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. – И посейчас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями, прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван приказчик? Мешок с выручкой потерял... на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез... в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

– Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с... в баню ходил-парился... Чистый понедельник-с... все в бане, с пяти часов, как полагается... – докладывает, нагибаясь, Василь Василича и все отталкивает кого-то сзади. – Посчитайте... все сполна-с... хозяйское добро у меня... в огне не тонет, в воде не горит-с... чисто-начисто...

– Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катали? От квартального с Пресни записка мне... Чем это пахнет? Докладывай, как было.

– За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда... ошибся... ради хозяйского антиресу. К ночи пьяные навалились – катать! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат – жоце! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал... ну, выпивши маленько...

– А ты трезвый?

– Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был... А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники... с блинами на горы приезжали и с кулками... Очень я им пондравился...

– Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври...

– Забрали меня силом на дилижан, погнал нас Антошка... А они меня поперек держут, распорядиться не позволяют. Лети-им с гор... не дай Бог... вижу, пропадать нам... Кричу – Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать... да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место... с кулак нажгло-с... А там, дураки, без моего глазу... другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел... ну, тоже маленько для проводов масленой не вовсе тверезый... В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало... А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побил... лежали мы на льду, на самом на ходу... Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу... и ему солянки велел подать... и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий пост, чтобы было тихо и благородно... все веселения, чтобы для тишины.

– Антошка с Глухим как, лежат?

– Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч фершал смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капуста просят. Напужался был я, без памяти оба вчерась лежали, от... сотрясе-

ния-с! А я все уладил, поехал домой, да... голову мне поранило о дилижан, память пропал а... один мешочек мелочи и забыл-с... да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

– Ступай... – упавшим голосом говорит отец. – Для такого дня расстроил... Говей тут с вами!.. Постою... Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять... двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощение просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь Василии видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь – войти? Скриплю дверь. Отец, в сером халате, скучный, – я вижу его нахмуренные брови, – считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почекивают медяки и – звонко – серебро.

– Тебе чего? – спрашивает он строго. – Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники... Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.

В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты, – «от угара». Плотники, сходявшие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:

– ... и вси... свя-тии... ангелы с Ним.

Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов... – и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

– Ох, кваску бы... огурчика бы...

А Горкин, качая пальцем, читает уже строго: «Идите от Меня... в огонь вечный... уготованный диаволу и аггелам его!..»

А часики, в тишине, – чи-чи-чи...

Я тихо сижу и слушаю.

После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен, – я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь Василия тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает... А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает – ни слова.

– А за что изругали! – уныло говорит он мне, смотря на крыши. – Расчет, говорят, бери... за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки... с мальчишек... Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот... расчет! Ну, прошусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит...

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь Василича.

– Василь Василии! – слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. – Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

– Какие есть – все ваши, а чудесов тут нет, – говорит в сторону, и строго, Василь Василии. – Мне ваши деньги... у меня еще крест на шее!

– А ты не серчай, чучело... Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.

– А так, что вчера ломились на горы, масляная... и задорные, не желают ждать... швыряли деньгами в кассю, а билета не хотят... не воры мы, говорят! Ну, собирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные... ну, пятерку пропили, может... только и всего. А я... я вашего добра... Воту меня, вот вашего всего!.. – уже кричит Василь Василии и враз вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь Василии. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь Василии, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь Василии, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:

– Нечего проклажаться! Эй, робята... забирай лопаты, снег убирать... лед подвоят – некуда складывать!

Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь Василии смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.

– Постишься, Вася? – посмеиваясь, говорит Горкин. – Ну-ка покажи себя, лопаточкой-то... блинчики-то повытрясем.

Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой.

Начинают печально благовестить – по-мни... по-мни... – к ефимонам.

– Пойдем-ка в церкву, Васильевские у нас сегодня поют, – говорит мне Горкин.

Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:

– Василь Василия... зайди-ка на минутку, братец.

Когда мы уходим со двора под призывающий блавест, Горкин мне говорит взволнованно, – дрожит у него голос:

– Так и поступай, с папашеньки пример бери... не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо... печи. Василь Василичу четвертной билет выдал для говенья... мне тоже четвертной, ни за что... десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши робята хо-рошие, они це-нут...

Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий блавест... Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок... – я и теперь его слышу в сердце.

Ефимюны

Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния.

Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от грехов, должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой – старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергей Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.

– Горкин, – спрашиваю его, – а почему стояния?

– Стоять надо, – говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. – Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому – их-фимоны.

Их-фимоны... А у нас называют – ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?

– Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны... Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние – покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их-фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех», – это я выучил в молитвах. И еще – «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще – радостные слова: «чаю Воскресения мертвых»! Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целомудрие», – будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова.

Их-фимоны, стояние., как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души. Там – прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по священной книге. Там и удивительные Мартын-плотник, и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещение в такой мороз, что он не оттает до самого Страшного Суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, – много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны.

И кругом уже все – такое. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва-халвой, – совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.

– Горкин, а вороны приставятся на Страшном Суде?

Он говорит – это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный Суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.

– Пожалуй что, и вся тварь воскреснет... – задумчиво говорит Горкин. – А за что же судить! Она – тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.

Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг – воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть, пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.

– Хозяин выгнал за безобразие! – говорит Горкину половой. – Дни строгие, а он с масленой все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом...

– За шары подавай!.. – кричит парень ужасными словами.

– Извощики спичкой ему прожгли. Не ходи безо времени, у нас строго.

Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.

– Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары... – кричат половые вслед.

– Пойдем уж... грехи с этим народом! – вздыхает Горкин, таща меня. – А хорошо, строго стало... блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на первую неделю запирает, и лампадки везде горят, афонское масло жгет, от Пантелемона. Так блюде-от!..

И мне нравится, что блюдет. Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят коробка снетка, свесила

хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутой лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусовых пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлопают-бултыхают жестянки-маслососы, – пошла работа! Стелется вязкий дух, – теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.

– Пстой-ка, – приостанавливается Горкин на площади, – никак уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику сготовил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздымать будут. Обязательно ему...

Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румянький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршашего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах, – неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.

В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне, – постукивают в них кости.

– Жирнову, что ли? – спрашивает у народа Горкин.

– Ему, покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!

Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он – как колода, темный, на искрасна-золоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь... Вкладывают шумящую перинку, – через реденький коленкор сквозится сено, – жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:

– Гробок-то! Сам когда-а еще у меня дубок пометил, Царство ему Небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.

В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки... и стук пустоты в ушах. А благовест призывает – по-мни... по-мни..

– В Писании-то как верно – «человек, яко трава»... – говорит сокрушенно Горкин. – Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь Василии из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие его рассказывали, свои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался... да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста, Левон его и парил, у нас, в дворянских... А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели, пиявки ставить, а уж он готов. Теперь уж там...

Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.

– Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, – ласково просит Горкин, – «И прославлю Его, Бог Отца Моего» поворчи погуше.

– Ладно, поворчу... – хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. – В больницу велят ложиться, душит... Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то, на «Господи Сил, помилуй нас». А на «душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещенье

на кулебячку не забудь позвать, напomini старосте... – хрипит Ломшаков, заглaтывая подковку с маком. – С прошлого года вашу кулебячку помню.

– Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.

– А за виски?.. Ангелами воспрянут.

В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в черное. И ризы на престоле – великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», – серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечи теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева – трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот – «о, Господи...». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стучается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смиренно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает:

По-мо-щник и по-кро-ви-тель
Бысть мне во спасение...
Сей мо-ой Бо-ог...

И начались ефимоны, стояние.

Я слушаю страшные слова: «увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя... душе-блудница... во тьме остави мя, окаянного!...»

Помилуй мя, Бо-же... поми-луй мя!..

Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй... что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки... «Боже, очисти мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-по-мышляю, – и падаю на колени, в страхе.

Душе мо-я... душе-е мо-я-ааа,
Возстани, что спи-иши,
Ко-нец при-бли-жа...аа-ется..

Господи, приближается... Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь – и вижу отца. Он стоит у Распятия. И мне уже не страшно: он здесь, со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Василь Василя, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете?.. «Господи,

сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли!» – молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои – в другом.

Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горячими баранками... На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай... «Господи Сил»... И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавой:

Господи Си-ил
Поми-луй на-а...а...ас!

На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот начинает воздыхающим голосом:

Господи и Владыко живота моего...

Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я – ровно двенадцать раз: Боже, очисти мя, грешного... И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке. Я знаю кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.

Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина, сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящичке, где стоят в стопочках медяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. И в храме тени, неслышно ходят. У Распятая теплится синяя лампада, грустная. «Он воскреснет! И все воскреснут!» – думается во мне, и горячие струйки бегут из души к глазам. – Непременно воскреснут! А это... только на время страшно...»

Дремлет моя душа, устала...

– Крестись, и пойдём... – пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. – Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничка куплю.

Уже совсем темно, но фонари еще не горят, – так, мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом, – к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом; только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка. И Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок: на говенье одни сухарики. К лавке Базыкина и смотреть боюсь, только уголочком глаза; там яркий свет, «молнию» зажгли, должно быть. Еще кому-то?.. Да нет, не надо...

– Глянь-ко, опять мотается! – весело говорит Горкин. – Он самый, у бассейны-то!..

У сизой бассейной башни, на середине площади, стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары.

– Никак все с шарами не развяжется!.. – смеются люди.

– Это я-та не развяжусь?! – встряхиваясь, кричит парень и хватает свои шары. – Я-та?.. этого дерьма-та?! На!..

Треснуло, – и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули.

– Вот и развязался! Завтра грибами заторгую... а теперь чай к Митреву пойдём пить... шабаш!..

– Вот и очистился... ай да парень! – смеется Горкин. – Все грехи на небо полетели.

И я думаю, что парень – молодчина. Грызу еще теплый грешник, поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, – первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стучают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче...

– Нет, не галки это, – говорит, прислушиваясь, Горкин, – грачи летят. По гомону их знаю... самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь по-шла!..

У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.

– Эй, Мураша... давай-ко ты нам с ним горячих вязочку... с пылу, с жару, на грош пару!

Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.

– С Великим постом, кушайте, сударь, на здоровьице... самое наше постное угощенье – бараночки-с.

Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки – жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, – и все чудесные.

1933–1948

Анна Ахматова

«Я в этой церкви слушала Канон...»

Я в этой церкви слушала Канон
Андрея Критского в день строгий и печальный,
И с той поры великопостный звон
Все семь недель до полночи пасхальной
Сливался с беспорядочной стрельбой.
Прощались все друг с другом на минуту,
Чтоб никогда не встретиться...

Петербург, 1917

Исповедь

Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.
Не тот ли голос: «Дева! встань...»
Удары сердца чаще, чаще.
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.

Царское Село, 1911

«Кого когда-то называли люди...»

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит – и Чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди...

Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима – все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес, —
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом бессмертных роз.

Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор – к смерти все готово.

Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное слово.

Москва, 1945

Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля)

Праздник Благовещения был установлен Церковью в воспоминание евангельского события – явления Архангела Гавриила Деве Марии и возвещения Ей благой вести о рождении Ею Христа, Спасителя мира.

Александр Сумароков

Стихиры Пресвятой Деве

1

Совет Предвечный,
Отроковице Бог, Царь мира бесконечный,
Открыти повелел, создание любя,
И примирение Он смертным обещает.
О Дева! Гавриил предстал перед Тебя,
И се Архистратиг Тебе вещает:
«Возрадуйся, слова мои внемля,
Возрадуйся, несеянна земля!
Ты счастья глубина, всем радости творяща,
В рай путь, и Лествица, на небо возводяща,
И Купина, без тления горяща,
Ты манна с небеси земным родам.
Тобой клятва пала,
В которой прежде вся вселенна утопала:
Тобою восстановлен Адам.
Возрадуйся сей счастливой судьбою!
Царь неба и земли с Тобою».

2

«Являешися мне ты яко человек,
И непостижныя ты Мне слова изрек, —
Она ответствует, – рек ты, что Бог со Мною
И что Творец и горней Царь стране,
Вселится во утробу Мне,
Но погнушается Он смертною женою.
В Себе ли место Мне священния найти,
И херувимскую Мне славу превзойти:
И невместимого в Себе ли Мне вместити?
Не тщися лестию ты сей Меня прельстити.
К пороку дев Я чувствую вражду,
И непорочности всегда была подвластна,
А браку не причастна;

Так коим, отроча Я способом рожду?»

3

«Колико все сие ни чудно;
Не трудно
Безмерной силе Божества
По воле победить порядок естества.
Святая Дева! Ты надежно можешь верить
Не ложному глаголу моему:
Пренепорочная! из смертных никому
Нельзя Премудрости Всевышняя измерить».
«Так буди Мне по слову Твоему, —
Пречиста вопиет ему, —
И да исполнится сие велико дело;
Рожду бесплотного, Мое приимша тело;
Да обновится тем блаженный оный век,
Который погубил в Едеме человек!
Слова твои приемлю:
Через рабу Свою нисходит Бог на землю».

Владимир Бенедиктов

Благовещение (к картине Боровиковского)

Кто сей юный? В ризе света
Он небесно возблистал
И, сияющий, предстал
Кроткой Деве Назарета:

Дышит радостью чело,
Веют благовестью речи,
Кудри сыплются на плечи,
За плечом дрожит крыло.

Кто Сия? Покров лилейный
Осняет ясный лик,
Долу взор благоговейный
Под ресницами поник;

Скрещены на персех руки,
В персех сдержан тихий вздох,
Робкий слух приемлет звуки:

«Дева! Сын Твой будет Бог!»

Этот юноша крылатый —
Искупления глашатай,
Ангел, вестник торжества,
Вестник тайны воплощения,

А пред ним – полна смиренья —
Дева, Матерь Божества.

1856

Федор Туманский

Птичка*

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певичу,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так запела, улетаю,
Как бы молилась за меня.

Сергей Дурылин

Из романа «Колокола»

Часть 3, глава 5

На Благовещенье, как на Светлый день, солнце играет. Звон колокольный играет в этот день с солнцем – радостный, легкий, веселый. Ему указано в этот праздник: «Благовестуй земле радость велию!» В Благовещенскую утреню Архангел с Богородицей в церкви разговаривают. Канон за утреней, в Темьяне, в соборе, читали на два голоса: за Архангела читал псаломщик, Кратиров, за Богоматерь – ранний батюшка, отец Михаил¹. Любители сходились со всего Темьяна послушать, как, стоя на разных клиросах, мудрственно и смиренно будет отец Михаил, Богородицыными словами, перечить Архангелу, приветствующему Пречистую усладительным голосом Кратирова², облаченного в белый стихарь (отец Михаил, в вишневой рясе, с епитрахилью из белого шелка).

Великопостный вседневный звон тихим ненастьем висел, в течение долгих недель, над городом. В Благовещенье прорывалось это ненастье яркими солнечными лучами. Многие звонолюбцы прашивали у Николки позвонить к благовещенской обедне: благовещенский звон –

¹ Канон Благовещению построен как диалог Архангела Гавриила и Пресвятой Богородицы. (Прим. ред.)

² Кратир— кубок, чаша с вином (греч.).(Прим. ред.)

скорбей отгон, – но Николка, поглядывая с колокольни на площадь, всем отказывал. Чумелый отводил в сторону обиженных любителей и разъяснял:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.